

# Престольный праздник

## Рассказ

Николай Никанорович Пенкин был в своё время директором завода, достаточно крупного завода – три тысячи человек, обособленная охраняемая территория, своя пиковая котельная, автономная система энергоснабжения. Хотя и выпускал его завод среди прочего эмалированную посуду, но все знали, что основная его тема – «оборонка», и аббревиатуру названия завода если тут расшифровать, то нормальный человек всё равно ничего не поймёт.

Николай Никанорович пришёл на завод инженером по распределению после окончания института и с завода же ушёл и на пенсию. Правда, успел он за это время вырасти до директора, приватизировать свой завод и продать его. При том по-хитрому довольно продал – остался Пенкин владельцем пиковой котельной, которая отапливала половину городского района, и хозяином одного из корпусов завода, который теперь сдавался в аренду различным коммерческим структурам.

Когда в институте учился Пенкин, был он худеньким и маленьким – на стадионе, где мы в футбол играли, мог за древком флага спрятаться. А стал директором – раздался в плечах, в лицо чего-то красного налилось, глаза выпученные, живот свой он грудью стал называть, на улице, если встретит знакомого, – обязательно замечание сделает: «Ты почему без пальто?» или: «Скажи жене, чтобы она тебе ботинки почистила!» Даже неловко себя начинаешь чувствовать после общения с ним.

Когда же на пенсию Николай Никанорович вышел, то снова другим человеком стал. Хотя, конечно, не на пенсию он ушёл, а просто после инсульта, догнавшего его, перестал заниматься делами всерьёз. Но теперь, если в сквере на скамеечке меня заметит, подойдёт и спросит: «Разрешите присутствовать?» – и после этого только сядет. Ну а я, несмотря на директорство и пенсионерство, всё равно его просто Колей зову.

Был Пенкин человеком изначально деревенским, родом из Красного Майдана. Когда мы в институте учились, я к нему в гости, точнее с ним к его родителям, в этот Красный Майдан, раз десять ездил. Красивое и тогда было село, а теперь ещё и новый храм там недавно поставили – по местному телевидению показывали. Точнее, храм восстановили – так было сказано. И что-то меня кольнуло: была какая-то история, связанная с этим храмом в селе Красный Майдан, но не мог я тогда ухватить эту связь.

А потом припомнился мне весьма любопытный факт, и оформился он у меня в голове как недоразумение, только когда Пенкин в мае сообщил мне, что едет в свою деревню на престольный праздник, это на Николу Летнего. Листал я на досуге как-то книжечку краеведческую про наши церковные древности и увидел там описание храма в селе Троица-Майдан, которое в советское время стало Красным Майданом и было тем самым родным селом Пенкина. Описывалась в той книжечке и история храма, и какие чудотворные и мироточивые образа в нём были, и как Василий Верещагин его купола расписывал, и какие замечательные господа на богомолье туда приезжали. А потому недоразумение заключалось в том, что праздник престольный у них должен был отмечаться в Троицу, а уж никак не на Николу.

Как всегда, встретились мы с Николаем Никаноровичем в скверике. Погода весенняя стояла – май месяц.

– Должен я ехать к себе в деревню на Николу, – доложил мне Пенкин, – я у них там, в храме, почётный гость. Храм новый, считай, на мои деньги поставлен. Старая-то церковь, помнишь, и без куполов, и без крыши стояла. Говорили, что во время войны немцы бомбу сбросили, она купол храма пробила, а не взорвалась. После войны её сапёры вывозили. Я сам того не помню, но старики рассказывали. А потом и купола обвалились, и стены крепко порушились. А может, и не нарочно немцы бросили бомбу ту, а она сама упала с немецкого самолёта. Говорили, что немцы боялись зениток городских и до автозавода часто не долетали, а запросто эти свои игрушки, бомбы в смысле, куда ни попадя скидывали – не домой же везти! Так вот, когда решили в обществе, что будет строиться новый храм или, как тогда говорили, восстанавливаться старый, ко мне подъехали активисты – дай, мол, денег. Ну, я дал миллион, а через какое-то время звонит по мобильнику владыка наш, митрополит в смысле, – дай ещё. Я как раз собирался купить себе домик в Испании – так я те деньги на храм-то и отдал. Подумал – зачем мне дом в Испании? Что я – оттуда, из Испании, что ли, на работу ездить буду? А так – в храме табличку бронзовую повесили, и там, на табличке, среди других, кто помогал в восстановлении, есть и моя фамилия. А как я умолял владыку нашего не освящать храм в честь Николы Летнего: стыдно, говорю, – будут думать, что это я упрощил тебя в свою честь так храм освятить. Это же архиерей, то есть владыка, наш принимает решение, в честь кого освящать тот или иной храм. А он мне отвечает, что решение уже принято и поменять ничего нельзя, а ты тут вообще ни при чём. В общем, увековечил я себя вот таким некрасивым образом, стыдно даже. И главное – денег совсем не жалко: у меня их тогда было, как у дурака махорки, из всех карманов сыпались.

– Понял я. Помню я всю эту историю. Мы же с тобой в этом разбитом храме без крыши в студенческие годы, когда к родителям твоим ездили, портвейн «Крымский» выпивали перед тем, как на речку идти купаться. До сих пор помню, что портвейн тот хвоей кипарисовой или туевой отдавал, даже с души воротило. Помню стены кирпичные, порушенные, вверх зубьями своими торчащие. А наверху, на этих обломках кирпичей, берёзки росли. Росли ведь, Пенкин? Даже помнится – кое-где фрески сохранились, чуть заметно на стенах просвечивали. Так вот, в книжке-то пишут, что храм ваш расписывал сам Васнецов.

– Слышал я и про Васнецова, в детстве ещё. Знаешь, как фрески эти по сырой штукатурке писались? Штукатурки слой делался очень толстым, и темперная краска, которой писали по сырому, проникала вглубь и на три, и на пять, и на десять сантиметров. И если сейчас даже побелить стену такую, то роспись древняя всё равно проступит через какое-то время и будет видна, если сильно намочить штукатурку ту. И такое проявление древней живописи выдаётся иногда за чудо.

– Здорово! Так скажи мне, друг мой Пенкин, а когда храм-то освятили?

– Да когда построили, тогда же и освятили. Лет десять уже.

– Пенкин, а ты что, не помнишь, что ли, как твоя деревня раньше-то называлась?

– В смысле? Как?

– Троица-Майдан!

– Ну, так это знаю я. Это же советские революционеры, наверное, всё напереименовывали. Не понравилось им слово религиозное Троица – вот и заменили его.

– Понятно, что у тебя большевики всё в этой стране испортили. Так, а ты знал, что храм в вашей деревне был до революции освящён в честь Святой Троицы? И престольный праздник-то у тебя в деревне был всегда в Троицу, а вы что наделали?

Пенкин снял шляпу и глупо почесал затылок.

– Да нет! Вроде и без храма мужики всегда на Николу пили! Тогда я вообще не понял – с какого перепугу храм в честь Николы Летнего освятили. Ты знаешь что – давай-ка сгоняй за книжкой домой к себе. Я тебя тут на скамеечке посижу подожду. Ты же в этом доме живёшь? – Пенкин кивнул на мой дом.

Знал он, где я живу, только что-то уж больно сильно вдруг заволновался.

Был Николай человеком начитанным, энциклопедически образованным и разными сведениями из любых отраслей знаний просто набитый. Доверял он только печатному слову, а к телевизору и Интернету относился, как к бреду пьянчуг подзаборных, и отзывался обо всех дикторах телевизионных и комментаторах только непечатно.

Через двадцать минут мой друг Коля Пенкин, выпучив глаза, хотя глаза у него всегда навывкате чуть-чуть были, изучал историю своей деревни, с интересом листая мою книжку. Потом он закрыл её аккуратненько так и сказал:

– Дай мне её на неделю – мужикам в деревне покажу. Сохранность гарантирую – ты меня знаешь. Понимаешь, какое дело, – ни в чём нельзя довериться даже взрослому и умному человеку – всё надо самому или делать, или хотя бы контролировать. Ну как же так – такую глупость сотворить!

– Да! Вот покажешь ты мужикам своим эту книжку, и они будут уже два раза в году престол отмечать. Теперь, значит, можно будет ещё целую неделю лопать, да ещё в такое хорошее тёплое время, в мае да в июне.

Появился Пенкин через пять дней. Позвонил мне по мобильнику:

– На месте?

– Гуляю в скверике.

– Сейчас я буду.

Я сидел на скамеечке в нашем парке – птички разные чирикают, черёмуха своими ароматами пьянит, женщины уже совсем по-летнему, чуть-чуть прикрытые чем-то лёгким, со своими собачками гуляют, между собой общаются, а собачки около лип и клёнов ноги задирают, свои дела обделывают.

Пенкин пришёл, не поздоровавшись, сел рядом и долго-долго молчал, минуты три. Я даже, отодвинувшись, посмотрел на него с подозрением.

– Чего уставился? – как-то довольно грубо начал он. – Вот твоя книжка – извини, что задержал, и спасибо. Сейчас я тебе всё расскажу.

– Чего расскажешь?

– Всё расскажу.

И снова замолчал. А потом заговорил:

– Ты же моих родителей помнишь? Так вот, они в один год умерли, лет десять уже. Я их там, в деревне, и похоронил на сельском кладбище. А вот что с домом делать родительским, а он у них огромный был, бывший барский, с двумя печками да с камином, верандой, мансардой, – долго придумать не мог. Продать? Я человек не мнительный, но, как только подумаю, что непонятные, а может, даже и неприятные мне люди будут по родительским комнатам шастать, да водку там пить, да богохульничать, да скабрёзничать... Нет! А ещё тут вспомнились мне строчки из стихотворения какого-то – «Продали дом, словно предали друга...» Для себя оставить – я в то время о пенсии не думал ещё. А тогда надо ему, дому, полную ревизию и ремонт делать – иначе без надзора он весь рассыплется. Ну так вот – полную ревизию и ремонт по последнему слову современного дизайнера и техники я сделал. А тут как раз нового батюшку в новый построенный храм назначили, отца Сергия. Молодой такой батюшка, лет тридцати пяти, но уже пузатый, как я. Жить ему с матушкой Натальей и четырьмя попятками пока что негде – четыре пацана у них, как горох, – от пяти до двенадцати лет. Я ему и отдал под житьё, временно, пока он сам не построится, родительский дом. Но с условием, что, когда приезжаю в гости, одна комнатка остаётся за мной.

Ну и вот приехал я туда к себе неделю назад. Пока мы чай с коньячком попивали с батюшкой, матушка мне комнатку приготовила, постель застелила, пыль вытерла, пол помыла. Комната моя замечательна тем, что выход у неё и в гостиную, и на веранду застеклённую, откуда можно спуститься в сад-огород. А там и груши, и вишни цветут – море белой пены. Дал я отцу Сергию твою книжечку и говорю:

– Что же вы натворили? Храм-то надо было освящать в честь Живоносной Троицы. А вы что?

– Я ведь лицо подневольное, Николай Никанорович, куда прикажет митрополит, туда и поеду служить, – отвечает мне мой отец Сергей, – я ведь в церкви-то не хозяин, – а то многие считают, что священник при храме – и храм его. Скажет митрополит: служи в Троицком – поеду служить в Троицкое, скажет в Покровском – буду в Покровском. Наше дело маленькое и подневольное. Хотя я вот не очень доволен новой политикой нашего владыки: разрушает он общину больно легко. Объясню: раньше приход вокруг священника организовывался, знали прихожане друг друга, и проблемами делились друг с другом, и помощь, когда могли, оказывали. А сейчас – тасует нас митрополит, перебрасывает с прихода на приход, и прихожане к священнику привыкнуть не могут, не успевают, и мы понять не можем: надолго ли этот храм нам родным стал, вкладывать в него свои силы и душу или снова на новое место перебросят.

Так вот, любезный мой Николай Никанорович, в этом году Троица ранняя; вы же знаете, что Троица, её ещё Пятидесятницей зовут, не привязана к календарю, она к Пасхе привязана. Она и в мае бывает, и в конце июня может быть. В этом году Троица через три дня будет. Завтра Никола, а через три дня – Троица. Вот тогда вы и увидите то, что должны увидеть.

– А что я должен у вас тут увидеть? – спросил я.

– Вы же знаете, какой у нас здоровенный и противный овраг посреди села, обходить его – половину дня потратишь. Всё хотели дамбу там насыпать, чтобы машины напрямую могли проходить.

– Конечно, помню, – говорю, – я этот овраг с детства помню, и слава богу, что засыпали, я очень рад – видел я.

– Так вот, когда планировку и фундамент под новый храм делали, весь старый кирпич и обломки стен, что остались от старой порушенной церкви, экскаваторами и бульдозером сгребли в овраг и использовали при строительстве дамбы в качестве наполнителя. Вот там и случилось через некоторое время то, что местные старухи принимают за чудо.

– Что ещё за чудо? – спросил я.

– А это я вам сам покажу через три дня. А то сейчас вы не вполне увидите, а потом уж и совсем не интересно вам будет. Нет уж, потерпите. Хотя вы завтра всё равно к бабе Дуне пойдёте, а она всё вам и расскажет. Она ведь – ух! – какая противница этого нового храма. Считает, что надо было старый восстанавливать.

Баба Дуня – это моя последняя и единственная родственница в деревне. Она постарше меня, и какая там она мне седьмая вода на киселе – не знаю, но фамилия у неё тоже Пенкина. В гости я к ней не пошёл, завалился спать.

Утром в храм я сходил, лоб перекрестил, на всю службу оставаться не стал: ноги у меня болят от этого стояния. Вот католики сидят, евреи сидят, татары даже лежать могут, а мы стоять должны. Баба Дуня часто приговаривает, что сила православия в ногах. И интересно: стою – ноги болят, гуляю – не болят. А вишни всю деревню белой пеной накрыли, скоро и яблони раскроются. Вернулся я домой, вытащил из сарая сенокосилку, заправил её и впервые прошёлся по свежей траве – люблю косилкой косить, да и литовкой тоже люблю, но с ней пока ещё рано.

На следующий день с утра наблюдал, как к Троице храм готовят: в роще молодых берёзок нарубили, весь пол травой и ветками застелили.

Потом со всеми четверыми пацанами-попятами пошёл на речку – с удочками посидели, но ничего не клевало. Щука под корягой била, окунь в траве прибрежной гулял, а бель не клевала. Попята меня очень порадовали: все одинаковые, как на подбор, как грибы, и дружные такие. У них в рощице берёзовой, на берегу, на деревьях бутылки полиэтиленовые прилажены для сока, да только ничего не набрали они – поздно уже для сока берёзового.

На Троицу, через день, я вновь в храм сходил: лоб перекрестил, но на всю службу сил у меня не хватило, ушёл домой. А перед тем, как домой пойти, спросил я у бабы Дуни:

– А что у вас тут за чудо новое на дамбе? Расскажи или покажи.

– Вот после службы я на дамбу пойду и тебя с собой захвачу. Я зайду за тобой.

Сижу я на диванчике у себя на веранде, журнал какой-то старый читаю – «Знание – сила», что ли, жду бабу Дуню. Дождался.

– Колька, Николай Никанорович, пошли за нами! – кричит.

Пришла баба Дуня, не одна, а с ней ещё четыре тётки – правда, не такие старые, как она, а лет по пятьдесят. Нарядные все, в белых кофточках, в белых косынках: Троица – праздник весёлый. Ты видел картину Рублёва «Троица»? Там три ангела уселись за столом под ёлкой и вино пьют. К оврагу молча мы шли. Подошли к дамбе и по тропинке стали спускаться.

– Мне что, с вами в овраг лезти? – спрашиваю я у бабы Дуни.

– Пойдём, пойдём, – отвечает она, – там наше чудо.

И тут откуда-то тучка, и дождик летний проливной с радугой, но быстро брызнул и прошёл. А мы как раз вниз спустились. И баба Дуня говорит мне:

– Смотри, – и указала на склон дамбы, крутой и поросший крапивой и полынью.

Большой кусок бывшей церковной стены размером с метр с сохранившейся штукатуркой лежал наклонно, вровень со склоном дамбы. И на этом намокшем куске стены старой церкви без всякой фантазии я разглядел ступню человека, босую ногу. Помнишь, в прошлый раз мы говорили про фрески по сырой штукатурке. Чья это была нога – Адама или апостола какого – не знаю.

Со старухами говорить на эту тему, что их чудо совсем не чудо, не хотелось – я заторопился домой, но тут появился на склоне батюшка отец Сергей. Он торопливо спустился к нам в овраг, довольно спешно прочитал со старухами какую-то молитву и тоже засобирался домой.

Шли мы с ним молча – всё было понятно и очевидно.

Дома пили чай с плюшками сладкими, сахарной пудрой посыпанными.

– Батюшка, а ты зачем ходишь туда в овраг молиться? – спросил я, и была в моём вопросе доля иронии, которую прочувствовал отец Сергей.

– Хожу я туда потому, что должен пастырь быть с народом, – ответил он мне, лукаво прищурившись и тоже с иронией.

Вот так я съездил в родную деревню.

Потом мы сидели с Пенкиным молча – ну что я мог ему сказать!

## Чудо с письмами Плиния

### *Рассказ*

Сколько лет, да нет – столетий: пять столетий и больше дарю людям возможность радоваться мудрости великого Плиния Младшего, делюсь, благодетельствую. Меня благодарят, глядят, берегут, отсылают ко мне как к ответственному хранителю истины и мудрости. Ко мне обращались властители судеб и сумасшедшие монахи, наследники престолов и папские нунции, меня воровали и дарили, я была свидетелем бурь и пожаров, войн и революций и даже всемирных катастроф. За пять столетий я поменяла в качестве местопребывания немало замков и дворцов, дубовых шкафов в высоких кабинетах и пыльных стеллажей в заброшенных сараях – все перипетии моей судьбы невозможно перечислить в один присест, и ни разу мне не хотелось добавить ни слова к тем мудрым мыслям, которые я храню. А впрочем, и возможности не было.

Обратиться к печатному слову, которое заложено во мне так давно, как мало в ком на свете, заставило меня слегка переполнявшее уже изрядное время, но жарко вспыхнувшее лишь недавно желание разыскать соратников. Эти соратники или соучастники должны, по моим представлениям, разделить мою радость и восторг по поводу случившегося события; его трудно было бы вообразить даже с больной головой – такое бывает только наяву.

Когда в течение нескольких столетий, а это не важно – одного, двух, трёх, – всё равно долго! Так вот – когда долго живёшь на одном месте, прикипаешь к нему и начинает казаться, что все предметы вокруг родные: и книги, и посуда, и люди, и окна, и вид из окна. А книжный шкаф – так это вовсе твой родной дом.

Жизнь у такой рядовой в наше время безделицы, как книга, не вечна, а точнее – конечна. Хотя, безусловно, эта сентенция и не должна иметь отношения к таким артефактам, как я.

А я, как и полторы сотни таких же горемык, томящихся в четырёх коробках, – мы уже не рассчитывали на благоприятный исход в своей судьбе, когда были брошены, а точнее, просто кем-то потеряны в опломбированном почтовом вагоне на богом забытом полустанке со сказочным назва-

нием Толоконцево. Кроме нас, десятка ящиков с уникальными изданиями, такими, что могут лишь присниться хранителям крупнейших библиотек мира: инкунабулами, эльзевирами и альдинами в сафьяновых, марокеновых и пергаментных переплётках, в вагоне были забыты ещё тридцать ящиков с охотничьими ружьями самых-пресамых великих мастеров. Перде, Голланд-Голланд, Ланкастер, Антон Лебеда – эти звуки пьянят слух охотников-коллекционеров всего мира; всё оружие было старательно упаковано в специально сшитые чехлы и заколочено в ящики из бакелитовой влагостойкой фанеры.

Кто их отправлял, эти сокровища, в 1945 году из поверженной и зализывающей раны Европы и кому они предназначались в заволжских лесных краях – не важно. Хотя для публики будет обнародовано имя спасителя и озвучено будет имя того, кто сохранил для будущих поколений эти реликвии – какой-нибудь капитан Егоров или сержант Бубликов. А нам, обитателям этих коробок и ящиков, хотя и любопытно, но неизвестно, кто планировал стать хозяином вроде бы обычных военных трофеев, да только не получилось. Никто уже не мог получить по документам свои ценности и разгрузить вагон на маленьком заволжском таёжном полустанке Толоконцево. А потому и стоял он бесхозный, загнанный в коротенький тупичок, начиная быстро ржаветь и гнить, скрытый под огромными лапами вековых сосен.

Если бы не мальчишки...

Конечно, мальчишки спасли все эти богатства.

Как это всегда у мальчишек бывает: давай проверим? давай посмотрим? а может, нам это надо? И вот уже через пару недель во всех деревнях округа, все мужики, что на зверовый промысел в лес ходят, стали обладателями лучших в мире охотничьих ружей, да таких, что «Зауэр три кольца» с оптическим прицелом с просветлённой оптикой считался чем-то не больно уж и раритетным. Я про всё это узнала уже позже, когда успокоилась на своём новом месте в областной научной библиотеке, в отделе рукописей и редких книг.

Наш отдел тогда посещали только избранные читатели, и такого здесь иной раз наслушаешься, что лучше бы и не слышать. А у наших академиков и писателей, хирургов и художников только охотничьи интересы и пересекаются – так я и проведала про этот секрет с пропавшими ружьями из нашего вагона. По разговорам, было всё это оружие частью коллекции Геринга. Хотя, по-моему, почти все замки по всей Европе к определённому времени были записаны на Геринга, что бы на этот счёт даже не задумываться. А заодно и всё, что было в замках, на него было переписано: картины, книги, посуда, серебро, бронза, мебель, коллекции, собаки, лошади; всё на Геринга!

Но вот если всю коллекцию охотничьих ружей ждала печальная судьба – ну, что такое оказаться в руках деревенских охотников-промысловиков? Это как гвозди заколачивать логарифмической линейкой! Нам, книгам, повезло в этом плане куда больше – повезло тем, что самый любопытный мальчишка, раздракотивший первую коробку с европейскими инкунабулами и вытащивший отсюда меня, пухлый том с латинской надписью, выведенной извилистой нечитаемой готической вязью – «Письма Плиния Младшего», изданные в Венеции в 1499, обладал настоящей мальчишечьей фантазией. Не только мой, цвета слоновой кости, матовый, пергаментный переплёт ввёл в трепет юного похитителя книг, заставив отнести завораживающий раритет к своему школьному учителю, но и та же самая фантазия его сразу занесла в далёкое Средневековье, откуда и действительно была я родом. А если ещё прибавить, что возможные разгадки рыцарских дворцовых интриг таятся под моими крышками... Понятно, что учитель истории мог стать проводником в мир средневековой Европы для любопытного мальчика.

Нас спасали в декабре, когда мороз уже сковал реки и озёра. Несколько сотен коллекционных стволов, побывавших на многих королевских охотах, а может, и побывав в руках самого рейхсмаршала Геринга, моментально разбежались по окрестным заволжским деревням и были до поры до времени старательно припрятаны местными мужиками в маленьких баньках, занесённых по самые крыши сугробами. А вот десять коробок с эльзевирами, альдинами и прочими книжными раритетами из венгерского городка Шарошпатак, из библиотеки местного замка, служившего в течение столетий родовым гнездом князей Ракоци, владетельных правителей Венгрии, были аккуратно уложены на сани и конной тягой отправлены в областной центр, в областную научную библиотеку. Это было действительно спасение: ведь не только для картин или для мебели страш-

ны перепады температур и повышенная влажность – перезимовать в вагоне, в лесу, посреди болот, было бы гибелью для такой коллекции, частью которой являлась и я.

Мы, исторические артефакты с возрастом в не одну сотню лет, очень чувствительны к окружающей ауре. Потому, пока мы несколько месяцев находились в вагоне, нам была неясна дальнейшая судьба: либо влажность, грибок и гибель, либо нас спасают. Спасли! И наконец-то появилась надежда на будущее, потому что книгохранилище наше новое располагалось в корпусе, которому, судя по витающим в нём флюидам, тоже было немало лет. И в течение последних ста лет в этих стенах не в карты играли и не шампанское пили, а размышляли о будущем человечества, а благородные мысли в серьёзных количествах иногда материализуются и всегда ощущаются долгожителями.

Мы с подругами, книгами из венгерского вагона, расположились в четырёх книжных шкафах, и пусть соседи и соседки наши были в большинстве своём на церковно-славянском языке, но тоже порядочные старухи, пусть и не ровня мне; и они были уверены в своём будущем, а тем успокаивали и меня. Было понятно, что мы попали в депозитарий и отсюда нам уже вряд ли удастся выбраться.

Больше всего меня беспокоило в последние полгода, с тех пор, как мы расстались с замком Шарошпатак и находились в безвестности в опломбированном вагоне, то, что рядом со мной нет практически моей родной сестры, книги «Комедий» Аристофана, изданной и напечатанной великим Альдом Мануцием в той же Венеции, но на год раньше меня, в 1498-м. Что нас роднило? Нет, не тексты – тут родства не было и в помине, а то, что переплетали нас в одной мастерской и один мастер, но средневековые мастера часто оставались анонимами. Это я его помню, да, может, ещё пара-тройка таких же престарелых дам, как я, – и его мозолистые подагрические пальцы, и кленовый верстак, и массивный, уютный пресс. Мастер готовил мой переплёт на века – и не ошибся!

Пергамент, в который меня обернул переплётчик, был выделан из кожи телёнка и стоил немалых денег. И всё же это копейки, если представить, что до того как книги начали печатать на бумаге, их переписывали вручную, и на изготовление только материала для одной такой уники уходило до ста телячьих шкур, выделанных до белизны. Выделывали пергамент и из кож овец, и из козьих кож – только из ослиных шкур не получался подходящий пергамент. Может, потому из Средневековья и тянется примета, что осёл и книжная мудрость вещи несовместимые.

Так вот, мастер переплетал нас двоих: меня и книгу «Комедий». И судьба нас очень редко и очень ненадолго разводила за эти почти четыре с лишним века. Мы не то что сроднились с ней – мы почти срослись, и очень неуютно чувствовала я себя, когда кто-то снимал эту книгу Аристофана с полки: холодно становилось и одиноко. Хотя таких случаев, помнится мне, было не больше чем с десятков раз, а за последние двести лет и ни разу. И если каждый из этих случаев достоин отдельного рассказа, то про один из них я всё же упомяну.

Самый знаменитый европейский авантюрист и проходимец Сен-Жермен имел несчастье явиться на белый свет в нашем замечательном и удивительном замке Шарошпатак. И если про матушку его никто и никогда не вспоминал, то вполне возможно, что его реальным физиологическим отцом был великий князь Ракоци-второй. По крайней мере, он такой заботой окружил мальчика, что грех было бы кому-то попенять на невнимание к нему. Мальчик воспитывался как наследник самого высокого и значительного дома Европы, и никаких претензий к учителям его не могло быть даже в помине. Мальчик не только был, как и любой дворянин эпохи, обучен придворным манерам, но и фехтованию, выездке, охотничьим хитростям; в совершенстве он овладел и всеми европейскими языками, и арабским. Вот кто стал главным читателем библиотеки замка Шарошпатак, и он, безусловно, был гениальным мальчиком, что и подтвердилось в будущем. Я хорошо помню его тонкие и ласковые пальчики.

Однако в десятилетнем возрасте по неведомым мне причинам был он отдан на воспитание и попечение в дом герцога Джованни де Медичи во Флоренцию с потерей имени и титула. Всё, что позволено ему было с собой взять, это часть книг из любимой его замковой библиотеки. Так сто томов, а в том числе и я, и другие древние римляне и греки, были сняты с полок и старательно упакованы и подготовлены к отправке. Но что-то в планах необъяснимое произошло, и спустя месяц мы вновь оказались на старом месте, на родных стеллажах. Да, может, оно и к лучшему: путешествия не идут на пользу великим артефактам.

Пока в фанерных ящиках мы колесили по Европе, пока в ржавом вагоне нас прятали в тиши сосновых заволжских лесов, у меня ещё теплилась какая-то надежда – что моя родная, почти единокровная (переплёты-то у нас из одного телёнка!) найдётся в каком-нибудь другом, таком же заблудившемся вагоне и встанем мы снова с ней бок о бок.

И жизненный опыт мне такую надежду подавал.

Мне хочется забыть, как два писателя привели к нам однажды в хранилище человека с фамилией Ракоци, так мне послышалось, но это был Матиас Ракоши; а я всё равно подумала, что он – наследник великих князей, истинных моих хозяев. Но нет – хотя этот человек и был некоторое время диктатором и хозяином Венгрии, а тут, в этом русском провинциальном городе, находился в заслуженной ссылке. Он брезгливо рассмотрел корешки переплётов, но даже не попросил открыть книжный шкаф. Да и фамилия его настоящая оказалась на самом деле не Ракоши, а совсем другая – и не выговоришь. Он и фамилию-то эту звонкую, которую знала когда-то вся Европа, присвоил.

Я не буду в подробностях описывать, как один из руководителей депозитария однажды распорядился составить список трёхсот наиболее ценных изданий, хранящихся в библиотеке, и я была в этом списке, а цель... Цель была очевидна! После произошедшего у них в стране переворота легко осваивалось общенародное добро. Но старая-старая старуха, которая, как и многие старухи, верила в справедливость и светлое будущее (её все сотрудники уже бабой Надей звали), набралась смелости и лично отправилась к представителю самого главного органа безопасности страны, который мог решить все проблемы, и этого временного директора библиотеки убрали.

Был и прорыв отопления, когда чуть не погибли в подвале офорты великого Рембрандта, но нас это не коснулось. Были и крысы, которым – увы! – не удалось попасть в наш дубовый, особо охраняемый шкаф.

А потом произошло то, во что трудно поверить: нас всех, всю коллекцию, почти полторы сотни томов, по списку упаковали, да так старательно, как детей новорождённых пеленают, и отправили в Венгрию, в наш родной замок Шарошпатак. Кто и с кем договаривался об этом возврате – не знаю. Кто, и кому, и какие деньги заплатил – не знаю. С кем и когда там президенты шампанское пили, и кому и какие ордена и медали вручали, и что они обещали друг другу – не знаю. Правда, здание библиотеки, в котором мы полвека прожили, подлаталось неплохо на том возврате; и реконструкцию, и переоборудование полное провели в нём.

А вот в замок мы уже не попали, а разместили нас в национальном депозитарии, где и положено нам по статусу современному находиться, только не к тому я всю эту историю рассказываю. Просто моё место в шкафу на полке оказалось, как никто не мог бы никогда и предвидеть, рядом с «Комедиями» Аристофана, изданными Альдом Мануцием в Венеции в 1498 году. Как же этот капитан Егоров или сержант Бубликов (не знаю!) по небрежности выронил из рук одну книжечку да и запихнул её сапогом злобно под шкаф, где она и провалялась чуть ли не с год, пока её не вытащили оттуда и не определили на должное место?

Как мы с ней обнимались и целовались, если фигурально выражаться, по-человечески. И вспоминаем мы с ней теперь вместе лишь детство наше: в старости детство положено вспоминать.

Так вот – чудеса не только в сказках случаются.